

МАКСИМ ИЛЬИЧ ШАПИР (25.VIII 1962 — 3.VIII 2006)

Утратившие — это наше поколение. Примерно те, кому сейчас между 30-ю и 45-ю годами. Те, кто вошел в годы революции уже оформленным, уже не безликой глиной, но еще не окостенелым, еще способным переживать и преобразаться, еще способным к пониманию окружающего не в его статике, а в становлении.

Роман Яacobсон, О поколении, растратившем своих поэтов (1930)

Давно уже я не стою на коленях перед наукой: она моя законная жена, хотя нас всю жизнь пытались разлучить. И в этом (...) году мы справляем одновременно и серебряную свадьбу и поминки... по мужу.

Борис Ярхо, Предисловие к «Методологии точного литературоведения» (1935)

3 августа 2006 года скоропостижно скончался Максим Ильич Шапир. Это тяжелая утрата для русской филологии. Максим Ильич гармонически совмещал в себе теоретика и историка, новатора и традиционалиста, лингвиста и литературоведа. Его работы принадлежат к лучшим достижениям отечественной науки, это исследования столь же высокой пробы, что и труды недавно ушедших от нас М. Л. Гаспарова и В. Н. Топорова.

Непосредственные интересы Максима Ильича охватывали историю и теорию русского стиха, лингвистическую поэтику, историю и теорию литературного и поэтического языка, текстологию, историю литературы, семиотику, логику и методологию науки, историю филологических наук. Во всех этих областях ему удалось не только оставить заметный след, но и заложить несколько новых научных направлений. Многие из наиболее значительных работ Шапира впервые увидели свет на страницах основанного им журнала «*Philologica*».

Вслед за Г. Г. Шпетом и Б. И. Ярхо Шапир считал науку не особым способом познания, а особым способом изложения познанного — специфичным языком духовной культуры. Главная черта науки — об-

щеобязательность ее выводов. Поэтому Шапир не просто пытался убедить читателей или слушателей в открывшейся ему самой истине, а последовательно и методично доказывал ее. В эпоху постмодерна он был одним из немногих гуманитариев, признававших верифицируемость эмпирических данных и фальсифицируемость теории обязательными для филологии.

Как всякого настоящего ученого, его отличало мужество, с которым он глядел на возможности и границы гуманитарного знания (этому вопросу посвящена одна из его последних статей). Вспомним хотя бы такой эпизод. Почетное место среди работ Шапира занимает многоаспектное исследование стиха, языка, стилистики и поэтики Г. Батенькова. В результате тончайшего филологического и статистического анализа, для которого был привлечен целый комплекс традиционных и оригинальных исследовательских приемов, Шапир вплотную подошел к выводу о том, что значительную часть корпуса батеньковских текстов нельзя считать аутентичными — это, может быть, «самая искусная русская литературная мистификация». Однако этого вывода ученый не сделал! Хотя тезис о контрафакции звучал более чем убедительно, альтернативная гипотеза не была опровергнута. Шапир обнаружил, что на всякий аргумент в пользу подделки отыщется контраргумент: всякие расхождения между подлинным (как правило, более ранним) и сомнительным (как правило, более поздним) Батеньковым «можно объяснить метаморфозами, которые личность Батенькова претерпела в тюрьме и ссылке». Были поэты, которые за те же годы проделали не меньшую эволюцию (например, Тютчев). А это значит, что «в области атетезы и атрибуции филологическая критика текста, по большому счету, бессильна». По крайней мере, пока.

Этим выводом результаты исследования не ограничились. На весьма нетривиальном материале Шапир поставил и решил интереснейшую методологическую задачу — построил сквозное («сверху донизу») контрастивное описание двух групп текстов, сопоставленных по всем стиховым и языковым параметрам. Кроме того, в работе сделано немало сопутствующих наблюдений и выводов, касающихся, в частности, проблемы авторства. Если Ролан Барт заявил о «смерти автора» в импрессионистическом эссе, то Шапир сказал, что автор по-прежнему остается научной фикцией, после внимательного обследования эмпирических особенностей текста, из которых, казалось бы, можно вывести авторскую индивидуальность. При этом Шапир был убежден, что смысл произведения не ограничен рамками самого текста — мы

по-разному воспринимаем текст, зная, кто его автор: мужчина или женщина, Пушкин или Хармс, известная историческая личность или аноним.

Одно из наиболее существенных достижений М. И. Шапира — оригинальное и стройное (хотя, увы, недостроенное) здание общей теории стиха, позволившей ему дать непротиворечивые определения базовых стиховедческих понятий, начиная с самого основного — стиха как такового в его отличии от прозы. На материале всевозможных систем стихосложения — от силлабики до верлибра, от Симеона Полоцкого до поэзии соц-арта — Шапир показал, что любой стих представляет собой систему сквозных принудительных членений, структурирующих в тексте дополнительное измерение, единицы которого связаны между собой парадигматически, то есть как реализации единого инварианта. Тем самым был получен ответ на вопрос, чем метр, ритм или рифма в стихе отличаются от одноименных явлений в прозе.

Помимо новаторского решения проблемы соотношения стиха и прозы, Шапир успел предложить новые и притом чрезвычайно убедительные решения двух других фундаментальных теоретико-стиховедческих вопросов — о соотношении стиха и языка и о соотношении стиха и смысла. В работе о стихе раннего Ломоносова, детально освещающей происхождение и развитие русского 4-стопного ямба, ученый открыл, что своим ритмическим обликом русский классический стих «пушкинского образца» в большой мере обязан такому постороннему для поэтики событию, как воцарение Елизаветы: необходимость ввести в торжественную оду многосложное имя монаршей особы заставило Ломоносова радикально пересмотреть теорию и практику стихосложения; не случись этого, русский стих мог бы пойти по другому пути.

Стиховедческие штудии М. И. Шапира никогда не были чисто формальными: в них все аспекты стихотворной формы (метрика, ритмика, рифма, строфика) затрагиваются в их взаимодействии и в связи со всеми уровнями поэтического языка (фонетикой, морфологией и синтаксисом, лексикой и фразеологией). Например, Шапир показал, что хотя «елизаветинская» реформа русского стиха, осуществленная Ломоносовым, была вызвана к жизни одной темой и чуть ли не одним словом, эта реформа существенно расширила словарь ломоносовской оды, сказала на репертуаре и частотности морфологических форм стихотворного языка и кардинально перестроила весь поэтический синтаксис: появление длинных слов привело к удлинению предложения и усилению межстрочных грамматических связей; в результате сформир-

ровался классический строфико-синтаксический период. Историю его становления и разрушения (от Ломоносова и Сумарокова до Бродского и Кибирова) Шапир проследил в специальной работе, из которой видно, как по мере усиления межстрочных синтаксических связей последовательно выкристаллизовались три способа построения стихотворной речи: «синтаксический», «антисинтаксический» и, наконец, «парасинтаксический» (с необходимыми оговорками эти три системы Шапир, принимая в расчет стилевые коннотации, интерпретирует как «классическую», «романтическую» и «модернистскую»). Тот же процесс с точки зрения синтаксиса представляется его поэтапным освобождением от слогового, строчного и стопного ритма, от давления строфы и размера.

Поставив вопрос об исторической грамматике русского стиха, Шапир проложил от него путь к проблемам исторической стилистики. В фундаментальной статье «Барков и Державин» ученый сформулировал тезис о принципиальной роли бурлескной поэтики в национальной традиции. На этой основе была построена новая глобальная модель эволюции русских поэтических стилей, основанная на противопоставлении двух типов стилистической организации — гомогенного и гетерогенного.

Основной пафос исследований Шапира — взаимосвязь разных уровней языка и текста, изоморфизм и гомология формы и содержания. В своей лишь частично опубликованной работе о «Горе от ума» Шапир продемонстрировал, как связаны между собой различные составляющие художественного текста — жанр, сюжет, персонаж, стиль, стих и т. д. Ученому удалось, опираясь на точные цифры, выявить трагикомический характер произведения Грибоедова: оказалось, что по многим параметрам оно находится на полпути между комедией и трагедией. В работе о поэме Катенина «Инвалид Горев» не только дана метрическая, ритмическая и семантическая эволюция русского гексаметра и всех его дериватов за сто лет (1730-е — 1830-е годы), но и показано, что своеобразие темы, сюжета, жанра, персонажей, стиха и стиля поэмы Катенина определяется зависимостью и отталкиванием от Гомеровой «Одиссеи».

Представление о потенциальной значимости формы Шапир распространил на все уровни и аспекты поэтического языка, включая орфографию и пунктуацию. Ученый доказал, что модернизация и унификация поэтического текста неизбежно ведут к искажению его стилистики, поэтики, семантики и прагматики. Не только при атрибуции и дати-

ровке, но и при выборе наиболее предпочтительных текстологических вариантов Шапир дополняет традиционные приемы текстологии лингвистическим, поэтологическим и структурно-семиотическим изучением памятника, иногда с опорой на математическую статистику. Все эти приемы применены в издании баллады Пушкина «Тень Баркова», где реконструкция текста сопровождается целой серией разносторонних (текстологических, лингвистических и стиховедческих) комментариев. Новые текстологические принципы позволили Шапиру исправить десятки искажений в тексте «Евгения Онегина», которые были канонизированы большим академическим изданием сочинений Пушкина, и указать наиболее типичные случаи привнесенной стилистической какофонии и содержательных противоречий, возникших вследствие неоправданной контаминации разных редакций и вариантов.

Как историка науки Шапира особенно привлекал Московский лингвистический кружок, с которым связаны имена филологов, обретших вторую жизнь благодаря подвижническим трудам Максима Ильича: это Г. О. Винокур, М. М. Кенигсберг и, наконец, Б. И. Ярхо, чьим «эпигоном» всегда скромно именовал себя М. Л. Гаспаров. 960-страничный том «Избранных трудов» Ярхо, включающий первую полную публикацию его «Методологии точного литературоведения», увидел свет всего несколько месяцев назад. Шапир задумал это издание еще в начале 1990-х годов, а наша совместная работа над томом растянулась почти на десять лет. Максим Ильич сумел отдать справедливую дань большому филологу и спасти от забвения его труды.

Однако многого, слишком многого Шапир не успел. И если еще недавно его планы были завтрашним днем науки, то сегодня их осуществление отодвинулось на долгие годы.

М. В. Акимова, И. А. Пильщиков (Москва)

* *
*

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой культуры МГУ, ведущий научный сотрудник Института языкознания Российской Академии наук, основатель и главный редактор журнала русской и теоретической филологии «Philologica», автор около 200 научных работ, стиховед, лингвист, литературовед, историк науки. Исследователь поэзии XVIII века, Пушкина, авангарда и постмодернизма. Издатель трудов Г. О. Винокура и Б. И. Ярхо.

Читал лекции в Гарвардском и других западных университетах. Дважды баллотировался в Российскую Академию наук (недобирая одного-двух голосов). Всё это — к неполным 44 годам...

Впечатляет. Но масштаба личности не передает.

Хорошо помню заседание Научного студенческого общества филологического факультета МГУ 13 декабря 1985 года. Был заявлен доклад студента, кажется, четвертого курса Максима Шапира «Поэзия и современная культура».

О нем уже тогда ходили слухи. Маленькая аудитория была полна. Сзади настороженно сидели профессора — руководители НСО. Шапира ждали, если не ошибаюсь, к 18.00. Он не пришел. Пошли искать. Величественная фигура докладчика всплыла в аудиторию с двадцатиминутным опозданием. «Извините. Сидел в библиотеке. Зачитался».

Все: и профессора, и студенты — возмущенно зашипели. Он с самого начала повел себя не как студент, а как власть имеющий. Как царь филологии.

И доклад оказался не робкими культурологическими экзерсисами, какие тогда поощрялись на филфаке (напомню: еще существовала советская власть с обязательным марксизмом), а фундаментальным размышлением об основах культуры. Шапир сразу обозначил три глобальные сферы современной культуры: материальную культуру, духовную культуру и быт. Всё новое создается в духовной и материальной культуре; быт аккумулирует отработанные ими смыслы, хотя и претендует иногда на то, чтобы казаться культурой (как в постмодернизме). В духовной культуре существуют три области, возникшие в процессе распада ритуального континуума и несводимые друг к другу: религия, искусство и наука. И если первоначально наивысшим аксиологическим статусом обладала религия, а затем искусство, то теперь, утверждал Шапир, таковой перешел к науке.

Собственно, это и было главным. Признавая равноценность трех областей духовной культуры, он не скрывал своего сциентизма. И если почти все мы — его старшие и младшие современники — выражаем через филологию себя, привнося в науку субъективные черты (чаще всего слабости), то он до такой степени осознавал объективность научного познания, его «принудительную истинность» (слова самого Максима Ильича) как моральный императив, что сделал научность нравственным законом своей жизни, подчинил себя ей — и стал ее воплощением. Воплощением филологии как точной науки.

«Основным содержанием собственно научной этики является этика языка, то есть строгое соблюдение норм научного языкового поведения», — настаивал он. Терминологическая точность, логическая непротиворечивость, аутентичность цитат, полнота ссылок — всё это он предъявлял сам и требовал от других. Рядом с ним нельзя было небрежно думать. Стыдно было показать сомнительную работу — лучше уж вообще не писать!

Но в нем не было никакого академического занудства. Это была на редкость артистическая личность: недаром же он в юности руководил школьным театром, а за несколько лет до смерти снялся в кино в маленькой роли персидского шаха. Трудно представить себе более изысканную филологическую прозу, более изысканного собеседника. Филологический артистизм пронизывал его натуру: легкий изящный понятный почерк, речь, в которой (без нарушения законов жанра!) равно были уместны и высоты абстракции, и соленая шутка («Мы — филологи», — любил повторять он за Ницше), отношение к книгам. Незабываем этот кабинет с письменным столом у окна, на котором никогда не было рассыпанных бумажных куч и книжных завалов, долженствующих изобразить занятость и вдохновение хозяина, а на самом деле выражающих небрежность его мысли. Шапир работал, как мыслил, — аккуратно и точно. Из кабинета на всю трехкомнатную квартиру расплзались ровные ряды книжных полок. Гуманитария не удивить обилием книг; удивительно было, как с ними обращался Максим Ильич. На его полках стояла, кажется, не только вся русская поэзия, история филологии, но и вообще значительная часть истории науки. Всё это было прочитано, освоено, всё было в работе. Но как это выглядело! Никаких подчеркиваний, никаких растрепанных суперобложек, никаких торчащих закладок. Надо было видеть, как любовными округленными движениями правой руки Максим Ильич поправлял книги, чтобы они стояли ровно, одна к одной. Он относился к книгам с трепетом — и они отвечали ему тем же: любая из них в его руках становилась интересной, оживала, как трубы органа оживают под клавишами умелого органиста.

Опустел кабинет. И письменный стол как остывший алтарь...

Точность не была для него самоцелью. Неточность, приблизительность знака влечет за собой неточность смысла, а именно смысла он взыскал. Еще в юности написал он поразительную работу, которую почти никому не показывал и которая передает его самые, если так можно выразиться, интимные научные мысли, — «Принцип семантиче-

ских отношений». В ней он безо всякого шарлатанства, с подробными выкладками (хотя, на его взгляд, недостаточно строго) доказывал, что смысл преодолевает ограничения, накладываемые на передачу информации скоростью света.

Будучи всесторонне образованным филологом, он почти все силы отдал стиховедению. Казалось бы, что тут можно сделать после Гаспарова и рядом с ним? Однако Шапир находил точное решение таким вопросам, на которые не только Гаспаров, но и вся предшествующая научная традиция давала только приблизительные ответы. Так было, например, с проблемой стиха и прозы, различие между которыми со времен Тьяннова усматривали в так называемой «двойной сегментации» текста (синтаксической и стиховой). Критически проанализировав эту концепцию, Шапир пришел к поразительному выводу о том, что стих — это дополнительное (временное) измерение текста, которое к тому же «моделирует вечность или то, что под ней подразумевается». И если «как категория мира физического вечность нам не дана», то в стихе она становится реальностью.

Научная результативность, убедительность и привлекательность работ Шапира во многом объясняются тем, что он владел подзабытым искусством диалектики — и в сократовском, и в гегелевском смысле. Изучая закономерности развития стиха, он не отрицал и роли случая — например, при исследовании ранней поэзии Ломоносова. «Я предполагаю обосновать тезис, абсурдность которого с позиции здравого смысла кажется прямо-таки вопиющей (...) — так начинается статья „У истоков русского четырехстопного ямба: генезис и эволюция ритма“: — мне предстоит доказать, что дворцовый переворот, в результате которого на престол взошла Елисавета Петровна, непосредственно отразился на ритмической структуре русской силлаботоники». Вам это кажется невероятным? Прочитайте статью, и всякие сомнения отпадут.

Его называли «последним романтиком точного литературоведения». Это неверно: скорее, он был последним классиком. Не случайно образом для него являлся М. Л. Гаспаров, которого он пережил меньше чем на год. И, как классик, он противостоял всякому произвольному отношению к истине. Девиз нынешних кремлевских политтехнологов: «Правда — это не то, что было на самом деле, а то, что люди об этом говорят», — был прямо противоположен мировоззрению Максима Ильича. Нетрудно понять, как он относился ко всему происходящему ныне в общественно-политической жизни страны.

Как и многие крупные ученые, Шапир был агностиком. На все религиозные традиции он смотрел отстраненно. Усилившийся в последние годы клерикализм, навязывающий себя обществу в качестве руководящей и направляющей силы, он, обыгрывая памятное советское клише, саркастически называл «светлыми силами реакции».

Одно из сквозных противопоставлений, проходящих через многие статьи Шапира, — дихотомия дискретности знаков и континуальности смысла. И внешний рисунок его жизни не заслоняет и не исчерпывает ее смысла.

Печататься он начал в 1986 году, в МГУ поступил в 1979-м, а закончил его... в 1994-м, когда за плечами было уже полсотни публикаций, включая книгу, и научная стажировка в Массачусетском технологическом институте, в архиве Романа Якобсона. Кандидатскую защитил в 1999-м, а уже через год — докторскую. Как такое может быть? Очень просто: он не гнался за корочками, степенями, званиями. Они сами находили его. Он же торопился работать.

...Четверть века назад юный студент МГУ Максим Шапир перевел знаменитую оду Горация «К Мельпомене». Тогда казалось, что это лишь удачный эквиметрический перевод. Теперь ясно: это была клятва, верность которой Максим Ильич Шапир подтвердил всей своей жизнью.

Я воздвиг монумент, меди прочнее он,
 Выше он вознесен царственных пирамид,
 Так что ни едкий дождь, ни леденящий ветр
 Не разрушат его, ни вереница лет,
 Несть которым числа, и ни столетий бег.
 Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
 Избежит похорон, станет по смерти жить,
 Слава будет моя все возрастать, доколь
 Входят дева и жрец в Капитолийский храм.
 Там, где с воем бурля, воды несет Авфид,
 Там, где правил своим диким народом Давн,
 Царь безводной земли, — скажут потом, что я
 Первым переложил на итальянский лад
 Эолийский напев. Муза, будь мной горда,
 Помни, я заслужил лавр священных Дельф.
 Волосы им обвей, о Мельпомена, мне.

М. А. Дзюбенко (Москва)

* * *

Самая смерть ⟨...⟩ его ⟨...⟩ была мгновенна и прекрасна.

...в странствии, в волнах...

А. Пушкин

О безвременной кончине Максима Ильича Шапира писали и пишут. Общая мысль, общая боль: это имя завершает скорбный мартиролог великих русских филологов, мучеников и тружеников нашей науки. Невосполнимость такой потери очевидна. Мир опустел...

Это случилось ночью с третьего на четвертое августа — там, где стынет Бохинское озеро (горное, альпийское, в Словении), вскоре после того, как в печати появились стихи об этом гибельном водоеме:

И мнится, не конец ли света
Здесь, в замкновеньи скальных стен,
Фатальных завершений мета,
Забвенье, немота устен.

(Дантовские чтения 2004, Москва 2005, 177)

Концом света стал этот холодный мрак для покойного, никогда не верившего в дальнейшую, загробную жизнь, в потусторонние озарения.

М. Шапир ценил в других людях и в самом себе одно качество, которое он называл так: «внутренняя свобода». Полная независимость от каких бы то ни было предубеждений, носящихся в нашем профессиональном воздухе. Нас уверяют, что как-то неловко спорить с такими замечательными учеными, как М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский? Ничего неловкого! Можно и нужно делать это ловко, убедительно, а главное, доказательно. И, конечно, корректно. Нам намекают, что литературная мистификация должна быть веселой (иначе какой же в ней толк!)? Неправда, не должна. Она вообще никому ничего не должна. Принято считать, что вульгарный социологизм в литературоведении — дело чуть ли не постыдное? И с этим Шапир не торопится согласиться. Оно и правда, торопиться незачем. На самом деле, вульгарна любая теоретическая предвзятость — в русле какого угодно «...изма».

Вспоминается в этой связи, с каким неотразимым блеском отстаивал он свою удивительную идею о том, что восшествие на престол Елизаветы Петровны явилось поворотным моментом в судьбах русского ямба, который не смог обходиться без пиррихий в стихах, восхваляющих императрицу, — ввиду многосложности ее имени (ср. с краткими Петром и Анной). Всё так просто и так неожиданно. Посмеиваясь,

наш первопроходец спрашивал: «Ну, как тебе мой вульгарный социологизм?» Превосходно! Максим, bravo. Совсем еще недавно Ломоносов писал о Петре и об Анне, а отныне воспеваает Елизавету, «каждое упоминание которой влекло за собой как минимум один, а то и два пиррихия». Из-за этого Ломоносову пришлось пересмотреть свои теоретические взгляды: стихи с пропусками ударений, прославляющие монархиню, уже не могли, как раньше, считаться «неправильными». Радовала праздничность этого открытия, как и множества других, сделанных корифеем стиховедения.

Особо нужно сказать о Шапире-текстологе. Его настоятельные предложения печатать сочинения прошедших эпох в орфографии и пунктуации источников (при всей кажущейся простоте такого принципа) имеют глубокий, важный и принципиальный смысл. Исследователь справедливо полагает, что модернизация правописания неминуемо ведет к семантическим искажениям текстов, а подчас и образа автора. В строке *Сатиры смѣлой властелинѣ* нельзя второе слово менять на *смелый*, поскольку исчезает первоначальная двусмысленность: то ли «смѣлая» сатира, то ли «смѣлой» властелин. В «исправленном» же варианте всё однозначно: «смелый властелин» — и только. Нельзя печатать *Дельви́г пьяный на пиру* вместо *Д. пьяный...*: иначе получится, что автор публично оскорбил лучшего друга, назвав его полную фамилию в таком контексте. Можно удивляться тому, что всё это стало вполне очевидным лишь на рубеже минувшего и наступившего тысячелетий. Но лучше поздно, чем никогда.

Свои текстологические идеи Шапир мастерски использовал в изучении многих литературных памятников, среди которых особое место занимает русская барковщина XVIII—XIX вв. В 2002 г. увидела свет книга, подготовленная И. А. Пильщиковым и М. И. Шапиром: «А. С. Пушкин. Тень Баркова: Тексты. Комментарии. Эскурсы». Это обширное исследование, включающее публикацию сохранившихся списков скандальной баллады, принадлежность которой Пушкину неопровержимо доказана соавторами-составителями. Ими же осуществлена реконструкция ее текста. Не входившая ни в одно из так называемых «полных» собраний сочинений поэта, баллада эта, впервые напечатанная у нас в начале 90-х годов по одному из списков, отныне может считаться изученной глубоко и всесторонне.

История филологической мысли — еще одна область научных интересов исследователя. Во второй половине 80-х годов он приступил к систематическому комментированию трудов Г. О. Винокура — на богатейшем фоне всего того, что творилось в те баснословные года в шту-

дях любителей нашей словесности. Иные пытались отговорить его от этого, советовали лучше писать задуманную тогда же книгу о лингво-поэтике Гоголя: конечно, Винокур — это хорошо, но ведь Гоголь-то в любом случае краше всех! Отговорить молодого, но уже тогда состоявшегося ученого не удалось. В 1990 г. вышла книга филологических исследований Винокура с огромным комментарием Шапира (своего рода «книга в книге»). Один из приятелей подарил нашему триумфатору бутылку самогона собственного производства с надписью на этикетке: «Шапиру от винокура». Впоследствии появлялись его работы о других выдающихся филологах — о М. М. Кенигсберге, Б. И. Ярхо, М. Л. Гаспарове и др. Заниматься ими он считал тем более необходимым, что сам неутомимо вырабатывал свою теорию стиха — самобытную, оригинальную, — а потому и требующую оглядок на опыт маститых предшественников. А замышлявшаяся книга о Гоголе так и не была написана, ни даже начата. Жаль, потому что она обещала быть не менее блистательной, нежели все другие работы Максима Ильича.

Вот его драгоценные подарки. Статья в «Даугаве» «Русская тоника и старославянская силлабика: Вл. Маяковский в переводе Р. Якобсона». Диссертация на тему «Стихотворное наследие Г. С. Батенькова: проблемы текстологии и поэтики». Монография «Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков. Книга первая». И множество, множество других. Когда читаешь справку о том, что у него опубликовано около двухсот работ, — удивляешься: неужели так мало? Казалось, у него их не менее двух тысяч. Это, наверное, потому, что иные из них чрезвычайно объемны и предельно насыщены научным содержанием.

Никто не спросил его, как он воспринимает предсмертные стихи декабриста В. Ф. Раевского, которые он, конечно же, знал и помнил, как знал и помнил всё или почти всё, что так или иначе касается русской поэзии:

И жизнь моя прошла, как метеор.
Мой кончен путь, конец борьбе с судьбою.
Я выдержал с людьми опасный спор —
И падаю пред силой неземною!

Эти стихи невольно вспоминаются сейчас, когда нет того, с кем нас связывала более чем двадцатилетняя дружба.

А. А. Илюшин (Москва)

* *
 *

М. И. Шапир погиб при тех же обстоятельствах, что Б. В. Томашевский, и его кончина такая же утрата, если не бóльшая: Томашевскому было 70 лет, а Шапиру 44 года, и он — после двух десятилетий плодотворнейшего и ярчайшего в его поколении творчества — не успел достичь той головокружительной вершины, к которой стремительно приближался его мощный талант.

Сочетавшаяся с необыкновенным дарованием научная принципиальность М. И. Шапира нажила ему влиятельных врагов, которые травнили ученого со злым упорством, характерным для организованной бездарности. Это привело его, гипертоника, к безвременной смерти.

Хотелось бы сказать друзьям и родным Максима Ильича традиционное «sursum corda». Но где взять воодушевление и веру в воздаяние, чтобы поднять наши сердца над этой могилой? Чего не успел сделать Шапир, не сделает никто.

Омри Ронен (Ann Arbor)

* *
 *

Выдающийся русский филолог Максим Ильич Шапир ушел из жизни в 43 года, в том возрасте, когда для филолога, да и для ученых других специальностей, нередко наступает время расцвета и главных свершений. Лучше всего о нем говорят слова из последних абзацев вступительной статьи к недавно вышедшему сборнику трудов Бориса Исааковича Ярхо (эта статья была написана Максимом Ильичом совместно с Мариной Вячеславовной Акимовой; по ее свидетельству, эти слова принадлежат Максиму). В приводимой цитате фамилию Ярхо я заменяю фамилией Шапира.

Один или вместе с учениками Шапир сделал гораздо больше, чем позволяют рамки обычной человеческой жизни, тем более столь недолгой и полной невзгод. Осуществленного им достаточно, чтобы дать нам почувствовать всю привлекательность и перспективность его идей, — мало это лишь по сравнению с тем, что Шапир мог бы совершить и чего не успел.

Долг наш — продолжить начатое.

Огромна степень неоченности в нашем филологическом сообществе, да и вообще в нашей культуре, колоссального масштаба этого уче-

ного. Прискорбно думать, что этот масштаб гораздо полнее был осознан за пределами России — в Италии, Соединенных Штатах, Швейцарии.

Работу, которую Максим Ильич — один или совместно с коллегами — провел по комментированию, текстологическому исследованию и изданию художественных и научных произведений прошлого, можно назвать поистине титанической; это научный подвиг. Самоотверженность, выражаясь пушкинским словом — *себяотвержение* этого ученого, его поразительное отношение к тексту как объекту исследования или редактирования не имеют аналогов.

У Максима Ильича осталась масса несобранных или неопубликованных работ. Теперь его творческому наследию предстоит новая, долгая жизнь. Его соавторы, ученики, последователи должны заняться подготовкой будущих изданий. И как хотелось бы, чтобы научное сообщество наконец воздало полную дань могучему филологу, стремительно и красиво окончившему земной путь — *в странствии, в волнах* на озере в Словении, где с ним во время вечернего заплыва случился сердечный приступ.

Н. В. Перцов (Москва)

* *
*

«У принципиального и профессионального человека должен быть скверный характер», — сказал мне один из моих университетских учителей, Леонид Линеv, когда я пожаловался ему на Павла Александровича Катенина, скверный характер которого сквозил в каждой написанной им строчке.

В студенчестве такие фразы пропускаешь мимо ушей. Но проходит время, ты читаешь все новые и новые тексты, и понимаешь: благостность и готовность поступиться принципами ради хороших отношений идут во вред делу. Профессионалы — всегда бойцы, а потому всегда обладают «скверным», с точки зрения окружающих их непрофессионалов, характером.

Глядя на Максима Ильича Шапира, в бойцовском характере заподозрить его было трудно. Он был мягкий, добрый, жизнерадостный. И только те, кто был знаком с его профессиональной редакторской требовательностью, с его желанием добиться точности формулировок и

абсолютной ясности мысли, знали, насколько жестким он умел быть. Отступать ему было некуда: позади маячили последние оплоты Филологии. Его Бог был Словом, и его Слово было всеильно.

Он выбирал для издания и комментирования самых неудобных авторов. Таких, как Григорий Винокур или незаслуженно забытый Борис Ярхо. Даже Пушкин у него был неудобен для исследователей: Пушкинский Дом, по-девичьи стыдливо потупив глаза, отступил перед необходимостью издать — хотя бы в разделе *Dubia* — и откомментировать «Тень Баркова». Шапир стал инициатором этого издания.

Он брался за самые щекотливые темы. Его работа по исследованию псевдо-батеньковианы поставила меня в крайне двусмысленную ситуацию. Я, в бытность мою школьным учителем, ввел «*Non exegi monumentum*» в программу для обязательного заучивания наизусть. И лишь после статьи Шапира, краснея, узнал, что имел дело с талантливейшей мистификацией.

Под его пером второстепенные фигуры становились первостепенными. Для Тынянова тот же Катенин был персонажем литературного быта. Для Шапира его поэтическое творчество стало одной из важнейших фаз эволюции русского стиха.

Его уход из жизни был неожиданным и просто потряс всех, кто его знал — хорошо ли, как Игорь Пильщик, плохо ли, как автор этих строк. Жизнь оказалась недописанной, не изданной до конца — как «*Universum versus*», главная книга жизни Максима Ильича. Первый том мы успели прочесть. Второй выйдет уже после смерти автора. И наше восприятие его резкой, решительной, математически строгой и точной мысли будет строиться уже с чувством этой непоправимой утраты.

Татьяна Автухович, известный в Беларуси специалист по русской литературе XVIII столетия, рассказывала мне, как оказалась на конференции «восемнадцативечников» в Лос-Анджелесе. На пляже услышала разговор двух «тамошних» русских профессоров о литературе, подошла:

— Простите, я тоже литературовед...

— В России есть только один литературовед — Шапир! — величественно сказал старший из собеседников. — Вы читали Шапира?

Профессиональное сообщество делится сегодня на тех, кто еще при жизни Шапира успел его прочесть, и тех, кому это еще предстоит. И все, кому это еще только предстоит, будут серьезно удивлены тем, сколько времени этот талантливый — и обреченный, как мы сейчас по-

нимаем, на ранний уход человек тратил на доказательство вроде бы очевидных истин.

Просто очевидными эти истины стали только — после него.

А. И. Федута (Минск)

* *
* *

Вопрос о том, существует ли любовь с первого взгляда, часто обсуждается, и мнения бывают различны. Ответа на него я не знаю. Но вот то, что существует дружба с первого взгляда, для меня не подлежит сомнению. Я пережил это — именно в тот миг, когда впервые встретил Максима Ильича Шапира. Не берусь решительно утверждать, но всё же, судя по всему, это чувство было взаимным. Страшная мысль приходит в голову: может быть, то, что обычно называют Провидением, было уже тогда осведомлено, как мало отпущено нам времени на общение, а потому и некогда ждать, нельзя расходовать минуты или, тем паче, часы на обычные светские условности. Вот как случилось, что, едва увидав друг друга, мы тотчас затеяли разговор, ни в малейшей степени не похожий на беседу только что познакомившихся людей, и не испытали при этом даже удивления от случившегося. Прекрасно помню этот разговор (состоялся он под гостеприимным кровом моего старинного друга Игоря Пильщикова). Мы обсуждали возможности восполнения лакун в русской культуре, возникших из-за цензурного изъятия чуть ли не всей французской литературы XVIII века. Затем коснулись вскользь еще одного изъятия — на сей раз связанного с западным влиянием, шедшим через Украину в XVII и XVIII веке, но пресеченным в самом начале XIX-го русским духовенством, постаравшимся избавиться от действительно нестерпимого засилья выходцев из Киева в командной структуре православной церкви. И тут разговор перешел на Гоголя, а соответственно, на вопросы текстологии, касавшиеся прозы — прозы, а не поэзии, которой Шапир занимался преимущественно.

Это был 2002 год. Мой роман «Страх», действие которого было накрепко связано и с Киевом, и с Гоголем, недавно вышел из печати и был известен Максиму (он мне позволил звать его так, и я и теперь воспользуюсь этим разрешением). Макс имел ряд претензий к роману, но говорить о них не хотел, а вместо этого спросил, не возьмусь ли я в качестве профессионального филолога за исследование прозы Гоголя,

а далее и прозы вообще — в противовес его занятиям поэзией. С грустью должен сознаться, что я не был готов к такому предложению. Не требовалось много времени, чтобы понять, каков филологический масштаб Макса. Я видел, что мне нужен не один год, чтобы хоть отчасти встать вровень с тем уровнем исследований, которые проводили Игорь и Макс. Мало того: следовало углубиться в филологию до такой степени, что ни о чем другом думать было бы уже нельзя; а я не хотел, да и не мог отказаться от художественного творчества, поглощавшего тогда (так же, как и теперь) изрядную долю моего времени. Всё же я не ответил отказом. Но объяснил ситуацию так, как ее видел. Макс кивнул, однако, сказал он, спешить и не нужно. Дело лишь в том, чтобы рано или поздно провести необходимую работу. А начать можно вполне скромно — например, с изучения влияний украинского языка на русскую прозу Гоголя (я перед этим упомянул, что владею украинским). С этим я согласился — и занимаюсь этим по сей день, только теперь, когда Макса нет, никто и никогда не сможет точно определить, достиг ли я поставленных им целей, необходимых для адекватного исследования природы прозаического текста, и той точности суждений, которой с необычайной, волшебной легкостью владел Макс в применении к тексту поэтическому. Об этой точности, как, впрочем, и о прозе, мне еще предстоит сказать.

Вторая наша встреча произошла спустя несколько дней, вновь в доме Пильщикова, правда, на сей раз было большое застолье, и в общей беседе принимали участие Игорь Георгиевич Добродомов, с которым я прежде не был знаком, мой еще один старинный приятель Александр Федута, бывший проездом в Москве (он и ушел раньше других, так как в тот же вечер уезжал поездом в Минск), а также супруги Макса и Игоря и, наконец, дети. Я сразу увидел, что беседой владел и направлял ее Макс, причем делал это виртуозно — хотя бы уже потому, что разговор был в результате действительно общий и всем интересный, не исключая и детей. Тот, кто услышал бы его со стороны, не особенно вникая в суть, пожалуй, решил бы, что всё как обычно: собрались филологи и толкуют о литературе; что тут такого! Но Макс повернул тему разговора — действительно о литературе, причем о Пушкине и его времени — неожиданным углом. Он цитировал разные строчки поэтов той эпохи, а в результате получался прихотливый коллаж, неожиданно сближавший далекий XIX век с нашим, уже XXI-м. И получалось, что говорили-то мы вовсе и не о литературе, а о жизни, да еще порой о таких ее сторонах, которые вроде бы не предназна-

ны ни для женских, ни тем более для детских ушей. Но в исполнении Макса эти вещи были так смягчены и — буквально — опоэтизированы, что ряд реплик он совершенно естественно адресовал именно детям, которые были столь захвачены беседой, что, верно, даже и не заметили, о каких «недозволенных» предметах говорят им и говорят они сами. Не поручусь, но думаю, что таким образом они беседовали со взрослыми впервые.

Застолье началось днем, но вечер надвинулся стремительно. Уехал Федута, за ним стали расходиться и другие. Тут-то, тоже собравшись домой, Макс и пригласил меня к себе в гости — из-за нехватки времени на ближайший вечер. Днем позже я улетаю из Москвы.

Он встретил меня не в дверях, а на лестничной клетке, куда тотчас вышел, когда я позвонил по домофону. Был седьмой час — а уехал я от Шапилов в третьем часу ночи, и по сию пору не могу разобраться в тех удивительных вещах, которые творились тогда со временем. Мне кажется, что оно опять пролетело в один миг — но стоит лишь вспомнить всё то, о чем говорилось, о всём том множестве тем, которые нам довелось обсудить, обо всех предметах, о которых я тогда услышал, чтобы всерьез усомниться, возможно ли втиснуть это в несколько часов. Мне не удастся рассказать здесь всё — именно потому, что столько разнообразных вещей просто не уместится в небольшом очерке.

Начался разговор с демонстрации той самой точности, о которой я упоминал выше. Макс всё же решил высказать свои суждения о моем романе: кажется, он опасался, что я могу обидеться на критику, хотя нужно было быть безумцем, чтобы обидеться на такую критику. Нет, она не была осторожной или намеренно снисходительной. Наоборот: Макс подверг роман самому строгому и полному разбору, и я только задираю брови от изумления, видя, в какой мере он проник во все тайники моей прозы (и зачем же, думал я, ему нужны мои филологические изыскания, когда он ориентируется в мельчайших тонкостях прозаического текста так же безусловно, как и поэтического?), а потому каждое его суждение больше всего напоминало крайне сложный, но идеально выполненный выпад фехтовальщика, от которого сразу становились видны все слабые или незащищенные места моего текста. Я не записывал его замечаний: их просто невозможно забыть, настолько они очевидны и одновременно неожиданны. Настанет день, когда я переиздам роман, исправив то, что возможно исправить, но важнее другое: я вряд ли сделаю еще когда-нибудь хотя бы одну из тех ошибок, на которые указал тогда Макс.

«Урок фехтования» кончился мгновенно, как и начался, и вот уже мы сидели за столом, ели торт, запивая его чаем, но до торта была открыта и опробована бутылка легкого вина, привезенного Максом из Италии. Я не большой знаток напитков, потому лучше запомнил то, что Макс говорил про Италию, а не про вино. Должен сказать, что всякого рода путевые заметки — не мой жанр. Я не люблю их ни в устной, ни в письменной форме. Но манера рассказа Макса была необычна и мне до тех пор незнакома. Он выбрал из всех впечатлений лишь одно, то, что касалось одной-единственной площади в Венеции. Больше он не говорил ни о чем. Но эта площадь по мере рассказа обретала всё большую, зримую, почти осязаемую и даже пугающую реальность. Спустя год я увидел ее во сне. Но тогда, помимо прочего, в ней сосредоточилась вдруг вся Италия: жаркая роскошь полдня, густые, но быстро меняющиеся ароматы, вереница плоских, словно приплюснутых зноем звуков, внезапный переполох голубей, вспугнутых ударом башенных часов, пробивших час, голос какого-то молодого аббата, громко объяснявшего нерасторопному туристу, как попасть туда-то или туда-то... И вновь вспомнился Гоголь, за ним Россия и опять всё тот же XIX век.

Макс снял с полки том «Записных книжек» Вяземского и, продолжая какую-то свою мысль, стал читать вслух, комментируя их, записи князя Петра Андреевича о стихотворении Пушкина «Клеветникам России». И вновь повторилось маленькое чудо: я видел спальню или рабочий кабинет в Остафьеве, мрачное лицо пишущего (Вяземский был возмущен стихотворением), первые складки на лбу и под глазами, уменьшенными стеклами тоже маленьких очков, — следы еще только намекавшей тогда о себе бессонницы, доведшей в конце концов семидесятилетнего старика до проклятий Богу. Библиофилы знают, что этот, изданный в 1963 году в серии «Литературные памятники» том Вяземского относится к числу самых редких изданий серии. Мне прежде не доводилось держать его в руках, а сейчас я пользуюсь избыточной опечатками «Старой записной книжкой» издательства «Захаров», где дореформенная орфография переведена в новую посредством автоматических компьютерных замен. И всё же, мне кажется, не из-за этого те самые страницы, что прочитал мне в тот вечер Макс, теперь снова утратили объем и звук. Как известно, книги, как и статуи, только кажутся живыми: спроси их, и они не ответят. Вот почему самое дорогое, что осталось мне от Макса — это его облик, его голос, множество неразличимых черт, вместе составляющих жизнь и не под-

лежащих никакой механической фиксации. Я улетел на следующий день — и больше никогда его не видел.

«Человек-эпоха», «человек-вселенная» — так, я слышал, говорили о нем. И сам я так думаю. Но все равно не могу понять и, вероятно, никогда не пойму, как ему удалось уложить для меня целый мир, словно драгоценный подарок в футляр — из которого всегда можно этот подарок вынуть целым и невредимым, — в эти наши короткие, совсем короткие три встречи.

О. Г. Постнов (Новосибирск)